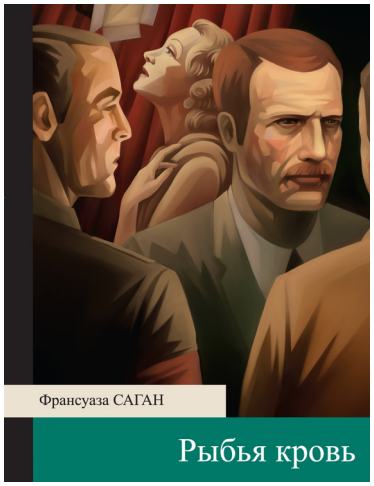
Франсуаза САГАН
Рыбья кровь

Франсуаза Саган
Рыбья кровь

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170172
Рыбья кровь: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-21856-1

Аннотация

Творческий, тонко чувствующий человек сталкивается с машиной нечеловеческого бытия в оккупированной Франции, пытается быть порядочным, ищет выход, не находит и в итоге принимает единственно правильные, пусть и страшные решения – в поразительном романе современного классика Франсуазы Саган «Рыбья кровь».

Счастье мимолетно и лживо. Вечной бывает только печаль.

Содержание

Часть I 4
Глава 1 4
Глава 2 17
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Франсуаза Саган
Рыбья кровь

Франсуазе Верни, с обожанием, благодарностью и симпатией

Часть I

Глава 1

Внимание! Последний кадр! Снимаем без репетиции!

Возвращаясь обратно к камере, Константин фон Мекк, в течение двадцати лет самый знаменитый режиссер в Голливуде и Европе, а за последние три года – в одной лишь Германии, пересек съемочную площадку, и в свете юпитеров ярко блеснули его огненные волосы, медно-рыжие усы и длинные узкие глаза: все это вместе с высокими скулами, крупным носом и мясистым ртом придавало ему – при высоченной, под два метра, гибкой, типично американской фигуре – сходство с казаком, правда, с казаком вполне цивилизованным и улыбчивым.

В свои сорок два года Константин фон Мекк прославился как фильмами, так и эксцентрическими выходками, и лишь благодаря его таланту и сказочному успеху пуританская нацистская Германия закрывала глаза на его сомнительные эскапады, а заодно и на равнодушие к политике. Сделав головокружительную карьеру в Голливуде, женившись там на суперзвезде Ванде Блессен и прожив двадцать пять лет в Калифорнии, он вдруг в 1937 году вернулся в Германию под предлогом съемок фильма «Медея», который заказала ему студия УФА[1], и тем самым бесконечно шокировал и великую Америку, и прочий свободный мир. Все, кто знал Константина фон Мекка – своевольного, остроумного, необузданного Константина, – теперь с изумлением и грустью называли и даже считали его в некотором смысле предателем, тогда как Германия, напротив, отнеслась к его поступку с восторгом и гордостью. Но все это время он снимал только развлекательные комедии, да и те от раза к разу становились все менее притязательными, а уж политика в них и не ночевала. Ходили слухи, будто Константин фон Мекк отказался от съемок «Еврейки», как и других антисемитских «шедевров», причем отказался настолько решительно, что до глубины души возмутил главарей «третьего рейха», и не сносить бы ему головы, если бы его фильмы не смешили до слез всемогущего гитлеровского министра культуры и пропаганды доктора Геббельса. Покровительство последнего было признано официально, к великому счастью Константина. Ибо, не говоря уж о слабости к еврейскому сброду, полнейшем политическом невежестве и весьма прохладном отношении к национал-социалистской партии, Константина фон Мекка подозревали также в чрезмерном пристрастии к алкоголю, наркотикам, женщинам и даже мужчинам, хотя слухи об этой последней склонности развеселили бы немало особей во многих столицах мира. И тем не менее достаточно было бы Геббельсу поморщиться на очередном кинопросмотре, и Константин тут же обнаружил бы, что Мюнхен отделяют от Дахау всего двадцать километров.

Ну а пока Константин фон Мекк, могучий, чуть неуклюжий и улыбчивый гигант в старых ковбойских сапогах, перемежающий свои приказы и советы английскими словечками,

---

[1] *УФА-фильм* (Universumfilm Aktiegesellschaft) – германский киноконцерн, основанный в 1917 г. *(Здесь и далее прим. перев.)*

машинально – как надеялись присутствующие, – но неуместно, казался воплощением беззаботной радости на земле.

– Ну, поехали! – возгласил он. – Мод, деточка, напоминаю вам: мы снимаем самый последний кадр этого превосходнейшего любовного фильма, где ваш текст – один из самых «волнительных» среди всех прочих диалогов. Мне нужно, чтобы вы превзошли самое себя. Начали! Hurry up![2] Мотор!..

Мод Мериваль, хрупкая хорошенькая блондинка, начинающая «звездочка» на ролях инженю, запущенная на небосвод УФА мощными усилиями рекламы, возвела горе взгляд, который, по ее мнению, изображал пылкую муку, а по мнению Константина – ужас кролика, зачарованного удавом. Вдобавок ассистент просунул между нею и камерой хлопушку точно таким жестом, каким предложил бы меню удаву, и, выкрикнув: «„Скрипки судьбы“, кадр 18, дубль первый!», исчез из поля зрения.

– Нет, я не могу принять эти розы! Даже эти бедные цветы из ваших рук, граф, терзают мне душу. Их аромат мгновенно умирает. Как я могу?! – вопросила Мод напыщенным тоном, еще сильнее подчеркнувшим весь идиотизм текста. Константин давно уже оценил извращенное очарование сценариев и диалогов, напичканных сентиментальной чепухой, по которым его вынуждали делать фильмы в ожидании согласия на съемки чего-нибудь более серьезного, соответствующего «линии партии». И все-таки фраза «Как я могу?!», произнесенная подобным тоном, грозила рассмешить даже самых чувствительных Гретхен.

– Послушайте, Мод, – сказал он, – пойдемте-ка со мной и давайте разберемся, что за отвращение испытывает к графу ваша юная героиня.

– О, конечно, конечно! – воскликнула Мод. Константин машинально взял ее за руку, и молодая актриса тотчас уподобилась крошечной куколке в нарядном кринолине рядом с человеком-великаном. Спохватившись, он попытался высвободить руку, но не тут-то было. Он на минуту запамятовал, что юная Мод, убежденная и матерью, и импресарио в роковой неизбежности постельной связи актрисы со своим режиссером – особенно если режиссер этот «сам» Константин фон Мекк, – столкнувшись с его вежливым отказом переспать с ней, вообразила себя женщиной с разбитым сердцем. Он же, хорошо зная, что разница между настоящей и придуманной любовью, между настоящим и придуманным страданием очень невелика, выказывал Мод дружелюбную и ровную учтивость. По внезапному наитию он поймал за руку болтавшегося рядом декоратора и потащил его за собой, словно дуэнью. Покинув залитую светом юпитеров площадку, они втроем зашагали в глубину павильона.

– Что-то не то в этой вашей реплике… – начал Константин, но Мод опять проворно перехватила у него инициативу.

– Да-да, именно что-то не то! – убежденно заявила она, смутно надеясь свалить всю вину на сценариста. – Я не чувствую ее вот тут! – продолжала она и, остановившись, ткнула пальчиком в ложбинку между грудями, давая понять, что именно там вызревает скрытое сопротивление непокорной фразе. Константин бросил на ее грудь вежливый, но мимолетный взгляд.

– Видите ли, – сказал он, – меня очень смущает это ваше «как…». Вы слишком уж форсируете первое «к», в результате создается впечатление, будто вы возмущенно зовете нерасторопного официанта в кафе, примерно так: «Кккакямогу, подойдите же сюда!» Или вы произносите с чрезмерным изумлением, словно обнаружили перед собой невиданный экзотический фрукт: «Боже, да ведь это „кккакямогу!“». Словом, ваше «как я могу» слишком вылезает, понимаете?

[2] Живо, быстрее! *(англ.)*

Мод не поняла ровным счетом ничего. Она с тоской силилась уразуметь, каким образом в фильме, задуманном в жанре оперетки, появились вдруг какие-то официанты и экзотические фрукты. Но, так и не поняв, все равно героически закивала в ответ.

– Да-да, вот теперь мне ясно! Боже, как все просто, когда вы объясняете, не правда ли? – обратилась она к декоратору, прятавшемуся за Константина, и тот кивнул, не поднимая глаз: он увидел, как Константин закинул голову, словно решил проверить, правильно ли поставлен свет: рука его, выпустив наконец запястье декоратора, потянулась к усам и принялась безжалостно ерошить их, собирать к центру, что, по ошибочному мнению их владельца, помогало скрыть усмешку. Декоратор, давно знакомый с этими предвестиями хохота Константина фон Мекка и знавший, насколько хохот этот заразителен, тщетно прислушивался.

– Да… – продолжала Мод Мериваль, цепляясь обеими руками за Константина; тот уж подошел к дверям студии и вдруг круто обернулся, почти оторвав Мод от пола: в этот момент она уподобилась рыбацкому челноку, взятому на буксир мощным теплоходом. – Да-да, – твердила Мод, – я поняла: вам не нравится первое «к» в реплике: «Как я могу?!» Но, простите, куда же прикажете мне его вставить?

Константин и декоратор остановились было, но тут же зашагали дальше, не глядя друг на друга и не отвечая Мод; наконец Константин пробурчал: «Да не вставляйте его никуда, просто будьте попроще… понежнее, что ли… В конце концов, чем цветы-то виноваты? Они ничуть не хуже любых других. А кстати… Анри, нужно заменить букет, этот завял. Так вот, Мод, деточка, ваши злополучные цветы тут совершенно ни при чем, они вам ненавистны лишь потому, что их преподносит граф». Константин говорил с явным усилием, как заметила Мод, воспламенявшаяся от его речей тем больше, чем отвратительнее, по ее мнению, вел себя декоратор – тот равнодушно отвернулся от них, словно ему наплевать на откровения из уст гениального Константина фон Мекка.

– О, вы знаете, так часто случается! – воскликнула она. – И даже в жизни! Однажды один человек – большая шишка! – решил не то купить меня, не то прельстить с помощью драгоценностей. Это меня-то! – добавила она с усмешкой, скорее удивленная, нежели возмущенная столь тяжким психологическим промахом. – Ну так вот, едва только он выложил на стол это колье, – а оно было в шикарном футляре и все такое прочее, – едва я взглянула на его лицо и руки, как у меня сразу же возникло подозрение, что колье фальшивое, – невероятно, правда? Ну просто в тот же самый миг! С первого же взгляда эти камни стали мне ненавистны, как вы сказали.

Мод выдержала эффектную паузу и торжествующе закончила:

– И самое интересное, что колье и вправду оказалось фальшивое! Представляете – стекляшки, и ничего больше!

Но это потрясающее сообщение не произвело на слушателей того убийственного впечатления, на которое рассчитывала Мод. Декоратор просто-напросто повернулся к ним спиной и исчез, а Константина фон Мекка, казалось, буквально зачаровал свет юпитеров. Все так же не отрывая глаз от потолка, он холодно попросил актрису вернуться на свое место.

– Теперь, когда мы обо всем договорились, пора наконец отснять этот эпизод, – сказал он хрипло, махнув рукой в сторону камеры, будто Мод еще неизвестно было, где ей предстоит исполнять свой долг. Удивленная таким обращением, она уже двинулась в сторону площадки, как вдруг Константин взглянул на двери студии, и что-то в этом взгляде заставило Мод обернуться туда же. В дверях – надменные, чопорные, примолкшие из почтения к чужой работе, но в то же время явно уверенные в том, что присутствующие заметили и их появление, и их тактичные манеры, – стояли два офицера и два ординарца. Блики на их околышах и сапогах сверкали, метались в темной глубине павильона, а в дверях, за спиной у немцев, возникали, исчезали и вновь появлялись юркие фотографы из французских газет.

– Господа! – произнес Константин, и Мод опять, в который уже раз, удивилась: отчего во время официальных церемоний голос великого режиссера всегда меняется до неузнаваемости, теряя обычный теплый тембр и становясь трескуче-сухим? В таких случаях Константин полностью преображался в напыщенно-высокомерного чиновника, а ведь он принимал своих же соотечественников.

– Well, давайте, please, go on![3] – скомандовал Константин. Он упорно говорил по-английски во время подобных визитов, и это вызывало улыбку у Мод: какой же он все-таки ребенок, думала она. И уже собралась заговорить, в полной уверенности, что на сей раз ее не оборвут, ибо в присутствии немцев Константин неизменно демонстрировал прямо-таки восторженное преклонение перед своими актерами и съемочной группой: его «русские» всплески гнева бесследно исчезали, превращаясь в безудержный поток похвал.

– Господа, мы заканчиваем. Последняя съемка! Мадемуазель Мериваль, – добавил он, на сей раз по-французски, – давайте снимать! А потом будем пить шампанское, мы все заслужили это сполна. Мы все заслужили это сполна, – повторил он тотчас же на безупречнейшем немецком – не оборачиваясь к нежданным посетителям, но явно специально для них, будто эти офицеры после двух лет пребывания во Франции не в состоянии были понять три несчастные коротенькие фразы на языке завоеванной страны. Ответом Константину были смешки и понимающие взгляды сотрудников; он вдруг ощутил себя отцом любящих детей. И верно: съемочная группа и актеры очень любили его, и, разумеется, ему было это приятно. Вообще-то Константин, даже самому себе в том не признаваясь, обожал очаровывать людей, утешать их, забавлять, поражать, защищать, холить и лелеять. Да, он любил нравиться им и мысленно отмечал это с благодушной самоиронией – так он скрывал от самого себя, насколько нуждается в любви. То была интуиция, или, вернее, неодолимая внутренняя убежденность, которую рассудок даже не мог четко сформулировать, выразить в словах – по крайней мере Константин таких слов не знал.

– Мотор! – крикнул Константин.

– Нет! Нет! Эти бедные розы из ваших рук, граф, источают опасный аромат. О нет, я не в силах принять эти цветы. Как я могу?! – На этот раз Мод, вопреки указаниям режиссера и даже собственному желанию, взвизгнула с удвоенной силой: до сих пор она выступала со старым букетом, но по просьбе Константина декоратор заменил его свежим, второпях не закрутив как следует металлическую проволочку, и когда актриса сунула цветы графу под нос – чтобы он оценил и ее личное к нему отвращение, и невинность роз, – острый конец проволочки скользнул ей под ноготь и на словах «как я могу?!» безжалостно вонзился в палец. Поэтому в ее голосе прозвучала отнюдь не меланхолия, а совсем напротив, изумление, гнев, даже благородное негодование, словно граф, позабыв о своей двусмысленной роли, вдруг нагло запустил руку ей под кринолин.

Эта внезапная смена интонации переполнила чашу хладнокровия Константина: скорчившись за огромным роялем – частью реквизита – с очень кстати поднятой крышкой, он уткнулся лицом в шарф и зарыдал от смеха вместе с электриком. В шести метрах от них трясся от хохота декоратор, этот сунул голову в пустые картонки и так и не вылезал из них, весьма походя на торчащую из помойки донышком кверху пустую бутылку. Зато офицеры и их свита не увидели в сцене ровно ничего смешного и, одобрительно глядя на Мод, вежливо зааплодировали.

– Константин! – закричала та, замерев в свете юпитеров. – Константин! Герр доктор фон Мекк, – исправила она со сконфуженной гримаской оговорку, показывающую господам офицерам вполне допустимую симпатию актрисы к режиссеру и к мужчинам вообще. – Кон-

[3] Ну… продолжаем, прошу вас! *(англ.)*

стантин, ну что теперь? Вы хотите отснять еще один дубль? Мне кажется, я сыграла слишком… слишком живо, не так ли? Потому что я укололась.

Мод собралась было, воздев кверху пальчик, продемонстрировать выступившую на нем капельку крови и изобразить хрупкое раненое дитя, но все-таки воздержалась. В конце концов, эти офицеры вернулись с войны, с фронтов России, Африки или еще откуда-нибудь, где кровь льется рекой, и ее рыдания из-за пустяковой царапины не умилят их, а скорее неприятно удивят. Константин выбрался из-за рояля; весь красный и запыхавшийся, с мокрыми глазами, он держался за бок.

– Ну ладно, – выговорил он, – ладно… если хотите… давайте… ох, боже мой! Ну конечно, может быть, вы… вы постараетесь быть более careful… Ах, да! Более… более внимательной, более собранной, не так ли, Мод? Ты была великолепна, моя дорогая, вот именно, великолепна! Но мы отснимем еще один дубль – просто для удовольствия, ладно? И специально для этих господ.

Константин мямлил, заикался, наверное, у него начинался жар, и Мод решила покончить со съемкой как можно быстрее; не успела отзвучать команда: «Мотор!», как она ринулась в бой.

– Нет, я не могу принять эти цветы. Эти розы из ваших рук, граф, источают опасный аромат. Нет, я не в силах. Как я могу?! Как я могу?! – взвизгнула она дважды, трепыхаясь, словно вспугнутая курица, и Константин, без сомнения, в восторге от ее игры, ураганом ворвался на площадку и, согнувшись вдвое, стиснул Мод в объятиях; он бормотал: «Браво, деточка, браво, браво, малышка!» Его огромное тело содрогалось от коротких подавленных всхлипов, от немых рыданий, столь трогательных у мужчин. И Мод нежно, как маленького мальчика, баюкала на своем плече этого верзилу, которого весь мир считал бесстыдным, развратным циником. «В этом гигантском теле, под личиной тирана я ощутила трепет детского, но гениального сердца», – поведала она на следующей неделе корреспонденту журнала «Синемондьяль» в словах, от начала до конца продиктованных ей импресарио; на сей раз они точно передавали ее собственные чувства.

– Ну-ну, – пролепетала Мод, даже слегка напуганная столь бурной реакцией, – что случилось, Константин? Что вам не понравилось? Вы хотите отснять еще один дубль?

В ответ она услышала, между двумя всхлипами: «Нет, нет!.. Нет! Нет!.. Последний кадр!..» Поразмыслив с минутку, Мод, как ей показалось, постигла причину скорби режиссера: то был конец его фильма, конец «их» фильма. Может быть, он все-таки любил ее? Может, его печалила предстоящая разлука, неизбежная при их профессии? Или в этом фильме было что-то, напоминавшее Константину его собственную жизнь, его жену? Пока Мод ломала голову над этой загадкой, Константин беззастенчиво утирал помятое лицо и мокрые от слез усы локончиками и белой батистовой косынкой своей героини.

– Ну что вы, Константин, – утешала его та, – не расстраивайтесь так, мы еще увидимся. Поверьте, я разделяю ваше волнение. Но надо держать себя в руках, там ведь эти люди, эти военные, Константин!

Режиссер с трудом высвободился из ее объятий, но тут Мод Мериваль шепнула ему на ухо несколько слов, от которых он дернулся, словно от удара хлыста, и вновь припал к ее плечу, несказанно удивив этим продюсера УФА Дариуса Попеску.

Ибо Константин, при всем своем ужасающе разнузданном образе жизни, со стыдливым упорством держал ее в секрете и категорически запрещал фотографировать себя в интимной позе с кем бы то ни было. Самое большее, что режиссер позволил однажды газетчикам, – это сделать снимок, где он, сидя в полуосвещенном ресторане, держит за руку свою супругу Ванду. И вот вдруг, нежданно-негаданно на глазах у Попеску он сжимает в объятиях

юную Мод Мериваль, пряча лицо в ее волосах. Да это же просто scoop[4] в жизни Дариуса Попеску как продюсера, так и мужчины. Было от чего впасть в экстаз!

Между тем Мод не сказала Константину ничего такого потрясающего, она просто шепнула ему: «Вы маленький мальчик, господин фон Мекк, мальчик-с-пальчик, который превратился в великана». И Константин, чей рост был метр девяносто пять, Константин, который в отелях, салонах и на улицах предпочитал сделать крюк, лишь бы не встретиться с бывшей любовницей, опять – в который уже раз! – поддался на эту нехитрую уловку; скорее всего у него сдали нервы или рассудок. В конце концов, он уже чертову пропасть времени снимал эти идиотские штуки – плоды дебильной фантазии сценаристов УФА, пропитанные тошнотворным духом немецкой добропорядочности и чувствительности в худшем смысле этого слова. Но на сей раз чаша его терпения переполнилась. Нет, хватит уж соглашательства, теперь он потребует своего: пускай УФА даст ему снять «Пармскую обитель», и тогда, может быть, Ванда – Ванда Блессен! – сыграет у него герцогиню Сансеверину. Ах, то была, конечно, недостижимая мечта, но слишком уж соблазнительная, чтобы ее не лелеять.

Если Константин позволял себе сетовать на тупую сентиментальность сценаристов и германский конформизм, то Дариус Попеску, напротив, имел все основания поздравлять себя с ними. Родившийся в Ливане от матери-ливанки и неизвестного отца, Попеску из-за своего горбатого носа и курчавых волос не однажды попадал в критическое положение во время проверок и облав. По счастью (которое пока неизменно сопутствовало ему), он если не являлся в глазах гестапо полноценным арийцем, все же был в достаточной мере левантинцем, чтобы снисходительный германский расизм не уступил места другому – смертоносному. И, стремясь подчеркнуть перед нацистами эту ставшую для него жизненно важной разницу между евреями и прочими уроженцами Ближнего Востока, Попеску год назад по собственной инициативе вызвался поставлять им неоспоримые доказательства своей расовой лояльности – неоспоримые, поскольку то были живые люди.

Вот почему в свете данной научной проблемы ему пришлось недавно донести гестапо на двух чистокровнейших представителей еврейской нации, то есть на декоратора Вайля, по документам Пети, и электрика Швоба, по документам Дюше, – оба они были взяты в группу Константином фон Мекком – «незнайкой» Константином, который на сей раз оказался информированным не хуже Попеску, более того – нанял обоих ассистентами именно потому, что узнал об их национальности. Но чиновникам по расовым вопросам во Франции пришлось еще некоторое время «погрызть удила», прежде чем они смогли дать ход доносу Попеску, ибо министр информации и пропаганды Йозеф Геббельс тремя годами раньше самолично запретил хоть в чем-либо препятствовать съемкам Константина фон Мекка. Попеску дрожал целых три недели, боясь, как бы его «живые доказательства» не сбежали до ареста; хотя и тот и другой выглядели куда большими арийцами, чем он сам, их имена – Вайль и Швоб – звучали совсем иначе, нежели «Попеску», фамилия, по мнению ее владельца, вполне двусмысленная, а значит, и невинная.

Ну, а пока суд да дело, съемки фильма завершились, ординарцы немецких офицеров уже втаскивали на площадку ящики с шампанским, Константин импровизировал короткий прощальный спич, а Швоб-Дюше и Вайль-Пети в последний раз – в неведении своем – поздравляли себя с тем, что выжили и, стало быть, им, счастливчикам, везет.

– Эй, друзья! Давайте-ка выпьем шипучки, забудем о делах да повеселимся немного!

Прислонясь к штативу камеры, Константин одной рукой обхватил его за верх, как женщину за шею, а в другой – сжал бутылку шампанского; потрясая ею, словно знаменем, он одновременно пальцем расшатывал пробку, которая наконец с оглушительным шумом вылетела, пробив фальшивое окно декорации и ударившись в огромный, фальшивый же, дон-

[4] Сенсационная новость *(англ.)*.

жон[5], куда выходило это окно; донжон тут же съежился и выпустил воздух, как проколотый шарик на ярмарке; при этом хлопке немцы автоматически схватились за револьверы, а тем временем из бутылки вырвалась шипящая пена и окатила плащ, руки и плечи Константина; тот, глазом не моргнув, спокойно поднял бутылку и опрокинул ее себе на голову; белая пена пузырилась и лопалась у него на волосах, заливала глаза, а он хохотал вовсю, бурно и заразительно, словно восемнадцатилетний мальчишка.

– Камраден! – вскричал он, обращаясь к своей группе драматическим фальцетом, воздев руки и вращая глазами, словно буйный сумасшедший, что придало ему сходство с неким другим современным оратором и заставило слушателей испуганно поежиться; потом он заговорил нормальным тоном: – Друзья мои, я благодарен вам за вашу работу и терпение. Без вас я никогда не снял бы такое кромешное идиотство, такую вселенскую чушь, как наши «Скрипки судьбы». Спасибо! Браво! – закончил он, бурно аплодируя и от всей души надеясь, что слова «идиотство» и «чушь» не входят в лексикон стоящего сзади переводчика. Так оно и оказалось, ибо офицеры захлопали, пока все кричали «ура», а вернувшиеся фотографы, не подозревая о том, какие кадры они упустили, усердно снимали режиссера и его красотку актрису, которых теперь разделяли добрых пять метров.

Мало-помалу присутствующие стянулись в центр площадки, в декорацию – освещенный юпитерами квадрат, единственное место в павильоне, где было чуть теплее и зубы не стучали от холода. И поскольку все сидели или стояли, прижавшись друг к другу, а шампанское лилось рекой, усталость, раздражение, враждебность, страх – все эти чувства, властвовавшие над городом целых два года, на миг исчезли, растворились в радости от завершения дурацкого фильма. На краткое мгновение они сменились весельем, дружелюбием, человечностью, согревшей сердца этих людей – таких разных, ненавидящих или презирающих друг друга; эта минута напомнила всем им мирное время и заставила умолкнуть даже злоречивых «ласточек» – незваных, но неизбежных прихлебателей на открытых приемах, охотников до дармовщины, чье число удвоилось с началом военных лишений. Это мгновение мира разбудило память Константина, как разбудили бы ее пейзаж, музыка, аромат, и внезапно явило его глазам безлюдный бассейн, увядшую пальму, огромный «Бьюик» с откинутым верхом и спину женщины, идущей к воде. Кто она была? Откуда взялся этот образ? Может, это символ мирной жизни, его американского прошлого? Если так, то слащавый же выбран был символ и, уж во всяком случае, вполне безликий.

Константин давно уже привык к тому, что его память превратилась в полупустую, заброшенную камеру хранения. Он свыкся с тем, что от самых пламенных его любовей в ней оставались лишь бледные подобия, стертые лица, бессвязные обрывки фраз. Да, он свыкся, но еще не смирился с этим, ибо – говорил он себе – если бы никто в мире больше не знал, что с ним происходило, если бы никто больше не помнил всю его жизнь, все, чем он был, что сделало его таким, все, что делал он сам, если бы никто ему этого не напоминал, то как мог бы он в один прекрасный день составить тот знаменитый счет, подбить знаменитый итог деяний своей жизни, вывести цифру, долженствующую стать оправданием и смыслом этой жизни? Когда и каким образом осуществит он тот пересмотр – вечно желанный и вечно откладываемый на потом, когда погрузится он в прошлое и сделает подсчет, который наконец скажет ему, был ли необходим или безразличен миру факт его существования? И сможет ли он хотя бы перед смертью проследить мгновенный и слепой путь кометы, обезумевшей от собственной скорости, – кометы его жизни? Мысль о невозможности сделать это сводила его с ума.

И в десять, и в двенадцать, и в шестнадцать, и в двадцать лет он давал себе нелепую клятву: непременно узнать, прежде чем умереть, стоило ли труда доживать до смерти, и

[5] Средневековая сторожевая башня.

хотя все говорило ему о том, что на этот никчемный, бессмысленный вопрос нет ответа, давнее прошлое – бойскаут, неуклюжий подросток, который был так дорог ему и которому предстояло так скоро разочароваться в жизни, – судорожно цеплялось за память, отказывалось исчезать бесследно; и все же воспоминание о свершенных деяниях, об их результатах и отголосках блекло и расплывалось, он, упорствуя, требовал от своей памяти сделать усилие, высветить пережитое, повернуть его другой гранью, но разбитый ее юпитер был темен и пуст, и во мраке прошлого лишь слабо маячили силуэты некогда любимых, ныне обратившихся в смутные тени. «А ведь я по ней с ума сходил… – говорил он себе с чем-то вроде презрительного сочувствия к тому влюбленному безумцу, каким был когда-то. – Да нет, вот тут у меня наверняка найдутся другие воспоминания, другие крупные планы, другие символы, ведь то была моя первая любовь, я чуть не умер из-за нее!..» Но – увы! – оказывалось, что склад памяти давно опустел.

Тогда он мысленно возвращался к более недавней любви и… выходил на неведомую туманную дорогу или же перед ним – вот здесь-то четко, во всех подробностях – вставало лицо автомеханика, который чинил им машину, – лицо, виденное какие-нибудь две минуты, но зачем-то заботливо сбереженное этой бессмысленной памятью вместо лица женщины, которую он любил тогда целых два года и которую теперь заслонила фигура хозяина автостанции. А ведь воспоминание об этой любви было еще так свежо! Нет, память-безумица, память-растратчица ни на что путное не годилась, если, конечно, не считать Ванды, его жены, величайшей из кинозвезд, женщины, которая некогда подчинила себе его собственную волю, как нынче подчинила еще и память, послушно выдававшую своему хозяину при одном лишь упоминании ее имени крупный план чувственного и переменчивого лица, где до боли ясно виделись ему ослепительный серп ее улыбки, нежная кожа, смятение в глазах, когда она призналась наконец самой себе, что их любовь отличается от предыдущих мимолетных романов.

Спустя десять минут опустошив две бутылки шампанского, насладившись предсказаниями продюсеров по поводу своего фильма – в будущем времени, рассказом немецкого офицера о сражении под Тобруком[6] – в прошедшем времени и, главное, упорным молчанием второго немецкого офицера по поводу Сталинграда – в настоящем времени, Константин фон Мекк отправился выпить с членами съемочной группы; их было двадцать, и, чокаясь с последним, он уже порядком захмелел, – тут-то он и обнаружил исчезновение Мод и, сам себе удивляясь, порешил непременно отыскать ее. Что же это такое с ним творилось? Миг назад, укрывшись в объятиях этой малютки по необходимости – чтобы спрятать свой сумасшедший хохот, – он задержался в них, как ему помнилось, не без удовольствия. С самого начала съемок, когда Мод стала навязываться Константину, она пробудила в нем лишь жалостливую симпатию – чувство, весьма далекое от любовного желания. Сперва она предложила себя как чудесный, нежданный дар, очаровательный сюрприз, но, столкнувшись с удивленным безразличием Константина, обернулась женщиной, сгорающей от страсти, эдакой Федрой, и наконец спустилась с этих высот до равной ему современной женщины, заигрывающей просто шутки ради. Константин, доселе поглощенный началом съемок, едва успел среагировать и остановить ее в тот самый момент, когда она уже согласна была сделаться случайной забавой, игрушкой на один вечер. И поскольку его приводила в ужас перспектива унизить женщину, по собственной ли воле или по воле обстоятельств, он решил предвосхитить события и подробно поведал Мод о своей несчастной, отвергнутой, а потому ни с чем не сравнимой страсти к бывшей жене, к Ванде Блессен. Ему, впрочем, не пришлось слишком уж притворяться: он действительно тосковал по ней – по Ванде. Ни одна жен-

[6] *Тобрук*– портовый город в Ливии, где в 1941–1942 гг. шли кровопролитные бои немцев с англичанами.

щина ей и в подметки не годилась. Конечно, у него был Романо. Да, кстати, а куда подевался Романо? Вечно он где-то пропадал, этот Романо, и никто никогда не знал, где его искать.

То ли дело Майкл – этот всегда был рядом: умница, мягкий, спокойный Майкл, Майкл в своей качалке на террасе, тихонько насвистывающий джазовый мотивчик. Константин всегда боялся, что он вот-вот умрет, и в начале их знакомства таскал его по врачам, чтобы убедиться в нелепости, безосновательности своих опасений. К несчастью, интуиция не обманула его, но для этого понадобилось, чтобы жизнь, как третий лишний, неожиданно, как наглый, лощеный, назойливый лакей, вмешалась в их судьбу и в один прекрасный полдень вышвырнула через дорожное ограждение в ров Майкла, сидевшего в черном автомобиле, который стремительно мчал его в студию. Эта смерть, эта катастрофа под ярким летним солнцем оказалась тем ужаснее для Константина, что она разрушила не только тело Майкла, но и его образ, его личность и, главное, их общую идиллию, которая с самого зарождения была окрашена в нежные, пастельные тона, такие же блекло-серые, как те качалки на террасе в сумерках, как море под дождем. Кровавая, огненная развязка, окрашенная в дикие цвета трагедии, не имела ровно ничего общего с теплыми и нежными, вюйяровскими[7] тонами их любви.

Да, но теперь речь шла не о Майкле и не о Романо, а о Мод. Наконец Константин разыскал ее в гримерной – горько рыдающую. Он не впервые заставал Мод в слезах, но они впервые испугали его, ибо на сей раз это были настоящие, жгучие слезы, от которых у нее покраснели глаза, вспухло лицо; они обезобразили ее, вот почему Константин понял: Мод постигло настоящее, искреннее горе.

– Что случилось? – спросил он, становясь на колени так, чтобы их лица оказались на одном уровне. – Мод, да что же стряслось? – повторил он уже обеспокоенно, ибо увидел в ее глазах огоньки гнева – чувства, на которое он считал ее абсолютно не способной.

– Дюше!.. – прорыдала Мод, уронив голову на плечо Константину, на сей раз без всяких двусмысленных поползновений. – Дюше и Пети… они их увели, эти негодяи, – еле выговорила она, давясь слезами.

Константин замер в полном изумлении; наконец до него дошло, что она говорит о Швобе и Вайле.

– Но почему? – тупо спросил он. – Почему!..

– Потому что они евреи! – яростно крикнула ему в лицо Мод. – А вы будто не знали?

В ее голосе звенело презрение, вызвавшее у Константина, в ком тайно дремал актер, сардоническую усмешку, достойную немого кино, – усмешку, которой, впрочем, он тут же устыдился.

– Да нет, конечно, знал, Мод, – ответил он, – тем более что это именно я раздобыл им фальшивые документы. Но как это их вообще посмели тронуть без моего ведома?

– Они только-только успели выпить шампанского! – простонала Мод. – Теперь они пропали! У меня был один приятель, тоже еврей, немцы увезли его… – Тут она опять начала судорожно всхлипывать. – И никто из них не возвращается назад… никогда! За два года ни один не вернулся. Вот увидите…

– Да, верно, – отозвался Константин. – Сейчас пойду узнаю.

И он быстро зашагал по коридору. Он шел в обратном направлении, от гримерных к съемочной площадке, и его сапоги, старые ковбойские сапоги, звонко цокали подковками по цементному полу. Но еще долго после первого поворота коридора до него доносились отдаленные рыдания, горестные всхлипы Мод, которые, один бог знает почему, напомнили

[7] *Эдуар-Жан Вюйяр* (1868–1940) – французский художник, график и декоратор, чьи произведения отличаются мягкими пастельными тонами.

ему пронзительные вскрики ласточек в деревенских сумерках, когда они стрелой проносятся над полями и домами – так низко, словно смертельно боятся спускающейся тьмы.

Когда Константин уходил со съемочной площадки, там кипело веселое возбуждение; вернулся он в мрачную тишину. Звук его приближающихся шагов слегка встревожил присутствующих; их торопливая ярость заставила людей постепенно, одного за другим умолкнуть, и молчание это стало поистине гробовым, когда он показался в дверях павильона: огромный, залитый резким светом юпитера, чьи отблески плясали в зеркале, на волосах Константина, в его бешеных, гневных глазах, на всей фигуре, устремленной вперед в юношеском порыве, столь же неукротимом теперь, в сорок два года, как и двадцать лет назад. По странной прихоти случая гнев его обрушился именно на Попеску, который, опьянев от похвал гестаповцев, а затем и представителей УФА, и трепеща от пережитых волнений, поспешил к нему навстречу. Константин грубо схватил его за галстук:

– Где они? Почему их увезли без моего ведома?

– Но… о ком вы?

– Я говорю о Дюше и Пети, – яростно выкрикнул Константин ему в лицо. – Куда их дели? Почему меня не предупредили?

– Но, господин фон Мекк, – заверещал Попеску, вырываясь, – вам же еще неизвестно, что вас обманули! У этих двоих были фальшивые документы, на самом деле они…

От злости Константин едва не оторвал Попеску ворот.

– Они евреи, и мне это известно. Тем более что я сам снабдил их липовыми документами, лишь бы они могли спокойно работать со мной, ясно вам?

Попеску даже подпрыгнул от ужаса:

– Это вы достали им фальшивые бумаги? Боже вас упаси, господин фон Мекк, говорить такое вслух! Вас же арестуют. Вы же…

– Идиот! – крикнул Константин и безжалостно шваркнул Попеску об стену; тот рухнул наземь и, с трудом поднявшись на четвереньки, замер, не решаясь встать: он чуть было не проболтался о своем участии в случившемся, чуть было не стал оправдывать этот арест и теперь, испугавшись задним числом, ясно понял, что Константин способен убить его за содеянное. Он увидел это по его глазам: перед ним стоял не человек, а бешеный зверь, грубый мужик – ну что взять с полурусского! Попеску облегченно вздохнул, но тут же со страхом увидел, что Константин направляется к немецким офицерам и продюсерам, застывшим в некотором смущении чуть поодаль, в то время как съемочная группа, отступив от них и робко перешептываясь, сгрудилась на другом конце площадки. – У меня забрали двух человек! – выкрикнул Константин в лицо этим четырем людям, самый рослый из которых – немецкий офицер – едва доставал ему до плеча. – У меня забрали двоих, моего лучшего декоратора и моего лучшего электрика, только потому, что они якобы евреи! Я требую, чтобы мне их вернули! Иначе я не сниму больше ни единого фильма – ни для УФА, ни для кого другого, ясно вам?

– Но послушайте… – начал французский продюсер, – послушайте, господин фон Мекк! У нас же была договоренность – и вы о ней наверняка знали – не брать на работу представителей семитской расы…

– Мне плевать на ваши договоренности, – высокомерно отрезал Константин. – В первый раз слышу, что французы способны на подобные гадости!

– Ну хорошо, предположим, это условия немецкой стороны, – вмешался продюсер УФА, как всегда, с легкой, довольной, таящейся в углу рта усмешкой, которую обычно скрывала толстая сигара, добавляющая ему сходства с известной карикатурой на его корпорацию.

Константин обернулся к нему:

– Господин Плеффер, вы, кажется, ученый, не так ли? Стало быть, вам довелось слышать о теории эволюции Дарвина, согласно которой человек происходит от обезьяны, – эта

теория, насколько мне известно, давно признана во всем мире. Но, я надеюсь, вам никогда до сих пор не приходилось слышать о «еврейских обезьянах»? Так вот, не будете ли вы настолько любезны употребить власть и вызволить из-под ареста этих двух потомков обезьян – моего электрика и моего декоратора? Вызволить и привезти их сюда, вот на эту площадку, пока я не послал вашу УФА ко всем чертям! И поторопитесь, старина!..

И Константин фон Мекк нарочито театральным жестом великого режиссера указал обоим продюсерам с их свитой на телефоны. Лишь один из них не двинулся с места, словно не слышал приказа, – капитан, прибывший из-под Сталинграда, грустный, усталый человек с отрешенным лицом.

– А вы, – спросил Константин, – вы не пользуетесь влиянием в гестапо или в СС?

– Нет, – ответил офицер ровным невыразительным голосом, который неизвестно почему успокоил Константина. – Нет, я до сих пор служил в вермахте.

Константин смерил его взглядом, но в облике этого человека – в каждом его движении, в каждой черте лица – сквозила такая бесконечная и явная усталость, что с ним невозможно было говорить тем тоном, каким Константин сейчас командовал остальными.

– Господин фон Мекк, – сказал офицер неожиданно мягко, – вы, по-моему, слишком нервничаете… или слишком многого не знаете…

Константин несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь прийти в себя.

– Можете вы мне наконец объяснить, почему немецкий народ ополчился против евреев? – спросил он тоном, который и ему самому показался детским. – Что же это творится кругом?

Голос офицера, прозвучавший в ответ, был бесстрастен и почти по-учительски назидателен:

– А творится то, господин фон Мекк, что, когда мы захотели избежать Версальского договора 1919 года, уничтожавшего Германию, нам понадобилась поддержка денежных тузов и прессы. Так вот, и деньги, и пресса, насколько вы знаете, находились в руках евреев.

– В том числе и немецких евреев, как я полагаю, – заметил Константин, – и некоторые из них погибли под Верденом, не так ли?

– Вполне возможно, – ответил капитан, – но то были немецкие евреи, чьи собратья работали в Лондоне, Милане или Нью-Йорке. И вам известно, что их банкирские семьи рассеяны по всему свету, а это препятствовало укреплению истинного патриотизма, абсолютного и полного, в каком нуждалась Германия. И пресса попала в те же руки, уж поверьте, господин фон Мекк. Вы, надеюсь, согласитесь, что мы не могли оставить бразды правления страной людям, которые являются – возможно, по вине истории, из-за давнишних кровавых погромов – по сути своей не патриотами, а космополитами.

Константин не отрываясь смотрел на офицера; он тщетно пытался закурить сигарету: руки у него тряслись от раздражения.

– Ну и что? – спросил он. – Разве это причина для того, чтобы арестовывать заодно и лавочников, парикмахеров, красильщиков?

– Мы не могли издавать законы, касающиеся исключительно богатых евреев, – сказал капитан все так же бесстрастно, – не могли! Это противоречило бы нашему принципу всеобщего равенства.

Он даже не улыбнулся при этих словах, он просто излагал материал. Константин сделал последнее усилие:

– Но скажите… скажите наконец, что же это сталось с вашими – с «нашими» – принципами, если они приводят к таким зверствам?

Воцарилось молчание. Капитан слегка постукивал каблуком левого сапога о правый. На шее у него багровел страшный шрам, совсем свежий, – Константин увидел его, когда капитан повернулся к собеседнику.

– Видите ли, господин фон Мекк, – снова заговорил капитан, – мы лишились одного поколения между побежденными в Первой мировой войне и их детьми тридцать девятого года, между озлоблением и яростью; мы лишились мира – поколения, которое хотело бы мира. Германия прямо перешла от воспоминания о войне к жажде следующей войны. Тогда царили нищета и озлобление, а сразу же вслед за ними возникло новое, дрессированное поколение, созданное, чтобы воевать, – и это дало нам самую прекрасную армию в мире, самую мощную и непобедимую. По крайней мере, мы так считаем, – вдруг пробормотал он как бы про себя. Вслед за чем прекратил сложные маневры ногами и, оставив Константина в полном недоумении, вышел из студии.

Две минуты спустя вернулся продюсер, успокоенный, даже обрадованный, и заверил Константина, что завтра же все будет улажено, что он переговорил с нужными людьми и что к концу недели столь необходимые режиссеру ассистенты будут ему возвращены. Константин поднял крик, требуя, чтобы их доставили к нему завтра же, и продюсер тут пообещал и это, даже поклялся, что завтра обоих привезут прямо к нему в отель. Но обещание было дано с такой подозрительной любезностью и готовностью, что встревоженный Константин решил обратиться куда-нибудь повыше. Нужно поговорить с генералом Бременом – Геббельс рекомендовал ему сделать это в случае каких-либо затруднений; а генерал Бремен именно сегодня ужинал, как всегда по понедельникам, у Бубу Браганс, старинной приятельницы Константина.

Элизабет Браганс, или Бубу – так называли ее ближайшие друзья, – была хозяйкой самого блестящего из парижских салонов еще лет пятнадцать тому назад, задолго до начала войны, – таковым он оставался и по сей день. Завсегдатаями его были все видные коллаборационисты[8] и сливки вермахта. Взглянув на часы, Константин сообразил, что еще успеет вернуться в отель, принять ванну, переодеться и вовремя явиться в особняк на Анжуйской набережной. Но перед уходом он забежал в гримерную и, схватив за руку Мод, потащил ее за собой.

– Пошли! – командовал он на ходу. – Быстренько наведите красоту и бежим в «изячный» салон мадам Браганс умолять одного всемогущего генерала о помиловании наших друзей. Я беру вас с собой, Мод, деточка!

И Мод, которая читала о роскошных апартаментах на Анжуйской набережной (не говоря уж о фотографиях чуть ли не в полусотне газет и журналов, правда, не в таких, как «Синемондьяль», скорее – в «Комеди»), пришла в восторг. Посещать тамошние приемы, как внушали ей и мать, и импресарио, считалось еще шикарнее, чем ужинать «У Максима». Печаль ее на мгновение улетучилась. А ведь именно из-за этой печали Константин и брал ее с собой. Ему очень хотелось напиться нынче вечером, и, зная себя, он боялся, как бы хмель не заглушил голос долга, как бы вино не заставило его забыть о крови, которая могла пролиться; он брал в спутники Мод, как берут с собою совесть, – так Пиноккио не расставался со Сверчком[9]; поистине, злосчастной Мод впервые приходилось играть подобную роль. Тем не менее, сидя в машине (Константин вел ее сам и не зажигал света), она вдруг повернулась к нему, и глаза ее блеснули любопытством.

– Знаете, Константин, вся наша группа ломает себе голову над такой загадкой: когда вы жили в Голливуде, вы ведь пользовались сумасшедшим успехом! Так почему же вы бросили студию, ваших кинозвезд, вообще все и вернулись снимать в Германию? Ведь вы же стопроцентный американец, разве нет?

– О, это долгая история, деточка. Я приехал в Германию в 1937 году, полный отвращения ко всему, и в первую очередь к самому себе. Американская пресса писала обо мне всякие

---

[8] Так во Франции называли людей, сотрудничавших с немецкими оккупантами.

[9] Герой написанной для детей повести Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» (1883).

гадости; жена, как я вам уже говорил, отвергла меня; отвернулись и друзья; в кармане не было ни гроша – словом, я плюхнулся с небес в грязь – и все потому, что вздумал сделать мало-мальски серьезный фильм. Америка – это страна денег, Мод! И людей, которые забывают об этом, жестоко наказывают…

Благородная печаль, звучавшая в голосе Константина, на какой-то миг убедила даже его самого и, уж конечно, произвела потрясающее впечатление на Мод: ее глаза опять наполнились слезами.

– Бедненький мой Константин, – прошептала она, – расскажите мне… расскажите хоть что-нибудь. Может, вам от этого станет легче.

Константин фон Мекк пожал плечами.

– Почему бы и нет? Все произошло, когда я приехал из Мексики. Так вот, когда я вернулся в Лос-Анджелес…

Глава 2

Константин, в ярости покинувший студию и увлекший за собой Мод Мериваль как грустное напоминание о долге, конечно, ошибся. Мод, которая уже была наэлектризована бурным концом съемок великосветской сцены, окончательно впала в экстаз при упоминании изысканнейшего салона Бетти Браганс – салона, регулярно поминаемого в газетной светской хронике. Она тут же осушила слезы умиления, возмущения и жалости, вызванные рассказом Константина, и спрятала уже ненужный носовой платочек.

– А вы близко с ней знакомы? – жадно выспрашивала она. – Говорят, у нее там потрясающе!

Потом, испугавшись, что это сочтут за восторги мещаночки, торопливо добавила: «Потрясающе, конечно, для снобов!» Слово «сноб» звучало для Мод столь же лестно, сколь и туманно. Константин неопределенно тряхнул головой, и они поехали к Мод, чтобы она могла переодеться.

Мод побила все рекорды скорости, нарядившись и накрасившись меньше чем за три четверти часа; затем она поехала с Константином в его отель «Лютеция», где он, движимый скорее запоздалым гневом, нежели желанием, занялся с ней любовью, ухитрившись притом не помять ей платье, что показалось бедняжке Мод верхом галантности. Поэтому, когда он попросил было прощения за свой бурный порыв, Мод с сияющими от восторга глазами тут же прервала его:

– Ах, я так долго ждала этого мига!

– Я вас не слишком разочаровал?

– Меня… разочаровали?! Да неужто я выгляжу разочарованной?!

И Мод рассмеялась томным смехом, на который не последовало ответа.

Особняк Бубу Браганс на острове Ситэ ночью выглядел темным кубом в окружении чуть более светлой воды. Подъезд был виден издалека благодаря паре высоченных канделябров, в которых горело по гигантской свече; другие, еще более роскошные канделябры обрамляли длинную лестницу, пламя свечей отбрасывало на широкие, плоские ступени причудливые черные арабески теней от великолепных кованых перил. И Константин увидел во взгляде Мод, вцепившейся в его локоть, восхищение и испуг Золушки, попавшей в королевский дворец, – увидел и невольно умилился…

– Константин, вы не знаете, где тут можно причесаться? – прошептала Мод. Константин указал ей на нужную дверь, пообещав подождать в вестибюле.

Он стоял, разглядывая гостей, потоком вливавшихся в гостиную, как вдруг из глубины бального зала на него налетел ураган. То была хозяйка дома Бубу Браганс собственной персоной; еще миг назад она льнула в танце к оробелому и скованному кавалеру и вдруг безжалостно бросила его прямо посреди толпы, чтобы кинуться к Константину.

– Константин! Да это же Константин! – воззвала она, перед тем как цепко, наподобие лассо, обвить руками талию своего друга. Откинув голову, она озирала его своими круглыми блестящими глазками хищной птицы. – Константин, скажи мне сразу: ты уже развелся, ты наконец свободен!

– А ты, – откликнулся ласково Константин, – ты скажи мне сразу: генерал Бремен здесь?

– Я первая спросила! – с жаром возразила Бубу Браганс. – Сперва ответь ты!

Константин рассмеялся: вращаясь всю жизнь в высшем обществе, Бубу ухитрилась сохранить дерзкие замашки школьницы.

– Ладно, отвечаю: я свободен, но пришел не один.

– Тогда и я тебе отвечу, – сказала Бубу, – генерал Бремен здесь, но он тоже пришел не один, его осаждают со всех сторон.

И они оба рассмеялись.

– У нас с тобой, как видно, разные устремления, – констатировала Бубу Браганс. – Да и странно, если бы было иначе. Ну ты и проказник! – воскликнула она, пытаясь дружески хлопнуть Константина по спине, но, не достав своей коротенькой ручкой даже до лопаток, ткнула его вместо этого в солнечное сплетение, получив в ответ зверский взгляд своего обожаемого друга.

Одетая, а вернее, туго запеленутая в черное атласное платье от Пакэна, несомненно считавшееся шедевром в 1935 году, Бетти Браганс удивительно напоминала кругленький бочонок на двух подпорках. Но это был бочонок, полный золота и могущества; никому и в голову не пришло бы посмеиваться над ней, такой почтительный страх внушала она окружающим. Ее первым мужем был один из совладельцев сталелитейного концерна «Дюваль»; он умер еще молодым, перед тем завещав ей все свои капиталы; затем она вышла замуж за Луи Браганса, безвестного писателишку, также довольно скоро канувшего в небытие, – этот оставил ей в наследство сомнительный салон, из которого она сотворила самый престижный салон в Париже. В нем-то она и царила вот уже два десятка лет, и люди не знали, чему больше дивиться: то ли безраздельному влиянию Бубу, то ли ее сказочному богатству, то ли уму и проницательности. Бетти Браганс и в самом деле была далеко не глупа и обладала безошибочным чутьем на моду и на тех, кто должен был войти в моду – даже сейчас, при оккупации.

Она постепенно разработала целую серию очаровательных фраз-недомолвок, весьма убедительных именно в силу своей туманности. Например, таких: «Моя фамилия Браганс, но я не ставлю перед ней частичку „де“». Это было чистой правдой, но как бы подразумевало, что она имеет право на упомянутое «де», – и это уже была ложь. Или она заявляла: «Должна честно признаться, мне давно уже за сорок», – что было более чем правдой, поскольку ей уже стукнуло шестьдесят, но позволяло самым наивным из слушателей думать, будто ей под пятьдесят. И все же, какова бы ни была Бубу, она полновластно царила в Париже и его салонах, командуя интеллектуалами, газетчиками, политическими деятелями, к чьему бы лагерю они ни принадлежали.

При этом за два года оккупации в доме Бубу никто не видел немецких мундиров. По ее требованию все гости, что военные, что штатские, обязаны были являться во фраках или прочей гражданской одежде. Поэтому в салоне Бубу можно было встретить немецких офицеров в смокингах – лощеных, прекрасно воспитанных людей, и явно не все они были фанатично преданы Гитлеру. Однако если кто-нибудь из них все же высказывал свое обожание фюреру чересчур шумно, Бубу Браганс тут же подавляла выскочку своим незыблемым хладнокровием и авторитетом хозяйки дома. «Ш-ш-ш! У меня о политике не говорят!» – бросала она нежнейшим голоском, со снисходительной усмешкой, словно Гитлер был всего лишь претендентом на пост мэра в какой-нибудь деревушке. Потом, взяв провинившегося под руку, она уводила его в свой будуар и цинично приступалась к нему со столь недвусмысленными авансами, что нацист быстренько приходил в себя. То была одна из граней могущества Бубу: она пускала в ход всю себя, вплоть до физических недостатков; более того, ей даже нравилось откровенно и беззастенчиво расписывать эти недостатки красивым молодым людям, коль скоро она заключала, что кого-то из них можно купить. Вот уже десять лет, как Бубу Браганс открыла для себя – и весьма охотно практиковала – этот новый вид сладострастия: низкое удовольствие бесстыдно и неторопливо демонстрировать свою непристойно-жирную, обвислую, отвратительную наготу испуганным юношам, которые поспешно натягивали на себя шелковые покрывала ее ложа и скрывали иронический или ненавидящий взгляд под длинными – всегда слишком длинными – ресницами.

– Бубу, – сказал Константин без дальнейших околичностей, – я привел к тебе свою актрису Мод Мериваль. Ей, конечно, далеко до Эйнштейна, но в своем роде она прелесть. Не обижай ее!

И он умолк, ибо в дверях туалетной появилась Мод, счастливая и возбужденная.

– Ты подумай, там ванная вся из мрамора и хрусталя! – воскликнула она, обращаясь к Константину и еще не уразумев, что находящийся рядом жирный бочонок с хищными глазками и есть хозяйка дома. А поняв это, так и застыла на месте, испуганно приоткрыв хорошенький вишневый ротик. Бетти Браганс бросила на Константина дружески-свирепый взгляд, словно говоря: «Браво, браво, мой милый! Девочка хороша – глупа, конечно, как пробка, но хороша!» И Бубу пожала плечами, что означало: «Ишь ты, „не обижай ее“! Чего ты боишься? Что я наброшусь на эту беззащитную овечку? С ума сошел!» После чего – воплощение материнской доброты и гостеприимства – сжала пухлыми пальчиками обе руки Мод.

– Ну конечно! – провозгласила она трубным голосом хозяйки дома, в высшей степени приветливым голосом, ясно дающим понять всем окружающим, что Мод – новенькая здесь и находится под ее покровительством. – Ну конечно! Мы уже так давно слышим о ней! Мы уже так давно ждем, когда же этот противный Константин перестанет прятать ее от нас!.. Ах, какой чудный сюрприз она сделала нам, какой приятный сюрприз! Мы сейчас выпьем за ее здоровье! – добавила она, обращаясь к гостям, заполнившим ближайший салон, и те охотно устремились к ней. – Дорогие друзья! Вот вам наш сюрприз: Мод Мериваль!

Поднялся восхищенный гул, и Константин увидел, что шею и щеки Мод залил румянец смущения, а сияющая Бетти – само благодушие, сама щедрость! – впилась в него глазами, ища ответного одобрения…

Бремен оказался меланхоличного вида старцем с лицом, испещренным мелкими морщинками; правда, живой взгляд и беспокойные руки слегка молодили его. По первому впечатлению он больше походил на персонажей оперетт Иоганна Штрауса, нежели на гитлеровского бонзу. Его сухое хихиканье, странная манера по-птичьи вертеть головой и потирать ладошки почему-то воскресили в памяти Константина героиню одной из венских опереток. Бремен знаком пригласил его сесть рядом на широкий диван, где восседал сам среди сонма юных арийцев в смокингах, подобострастно склонившихся к своему повелителю; гигантский рост Константина явно подействовал им на нервы, и они один за другим удалились с оскорбленным видом. Константин уселся напротив генерала и встретил его взгляд, в котором сквозили симпатия и любопытство – главным образом любопытство.

– Итак, господин фон Мекк, вот и вы наконец пожаловали к нам… Но вы нигде не бываете! Наша милая Бубу жалуется на это, и я ее вполне понимаю, – проговорил генерал с легкой приветливой улыбочкой, которая слегка сбила с толку Константина.

– Я никуда не хожу, когда работаю, – ответил он, – съемки фильма, знаете ли, штука утомительная…

– Ах, какой вы счастливый человек! – перебил Бремен, не слушая Константина. – Жить среди нарисованных декораций, в иллюзорном мире, не видеть реальной жизни и ее ужасов… Война – это же кошмар! – воскликнул он с такой театральной убежденностью, что его слова прозвучали просто комично.

– Да, разумеется, – с силой сказал Константин, – впрочем, именно по этому поводу я и хотел поговорить с вами, генерал. Мне…

Но генерал Бремен по-прежнему не желал его слушать:

– Видите ли, господин фон Мекк, война ужасна для человека не только оттого, что накладывает на него ответственность, но еще и потому, что заставляет его бояться, если он одарен воображением; война особенно ужасна для человека ночью, до и после сражения; одиночество – единственная спутница солдата, вот так-то! Да, именно одиночество, – повто-

рил он, нахмурив брови, и, деревянно выпрямившись, хлопнул ладонью по колену, словно пытался вколотить в него эту банальную истину, которой, по мнению Константина, действительно место было скорее в колене, чем в голове. Бедняга явно выжил из ума.

Константин решил предпринять обходной маневр и пуститься в общие рассуждения:

– Одиночество, увы, существует на всех уровнях, генерал. Режиссер также страдает от него; мне так тяжело вдали от повседневной жизни, от друзей, от моего окружения и…

– Да, верно! – внезапно воскликнул Бремен. – Вы ведь тоже женаты! Ужасно, не правда ли? Оставить где-то вдали семейный очаг!.. Моя жена, мои дети, мои дети, моя жена – я непрестанно думаю о них – только не в часы работы, разумеется, – добавил он с сумрачной гордостью. И обеспокоенный Константин спросил себя: неужели нацизм делает всех без исключения дебилами? Он поискал глазами Бубу Браганс, но та была далеко, она порхала среди гостей, словно пчелка, усердно собирая сомнительный мед их болтовни.

– Лично я разведен, – равнодушно ответил он.

– Разведены? Какая ужасная ошибка! – генерал был шокирован. – Развод – это же профанация! Как можно покинуть свою жену?! Как можно развестись с женщиной, с которой поклялся не расставаться до самой смерти?!

– Увы! – прошептал Константин, не зная, что еще сказать. – Увы! Трижды увы! – выкрикнул он громогласно. Его уже тошнило от этой развалины, разукрашенной железными побрякушками, военными крестами и нашивками (а в передней этого вояку еще небось дожидается традиционный стек). Генерал бросил на Константина взор, в котором наконец промелькнула озабоченность.

– Наша милая Бубу сказала, что вы хотели о чем-то переговорить со мной? – спросил он. – Могу ли я узнать, о чем речь?

– Речь идет о двух моих друзьях, – ответил Константин, – о моих декораторе и электрике, которых гестапо арестовало сегодня днем под тем предлогом, что они евреи; я хотел просить, чтобы их освободили.

Наступило молчание. Бремен заботливо массировал нос сверху вниз, потом рука его замерла на уровне ноздри; вид у него был крайне заинтересованный.

– А они и в самом деле?.. – спросил он.

– Что в самом деле? – осведомился Константин. – Вы хотите знать, евреи ли они?

– Да.

– Ну конечно, – ответил удивленный Константин. – Конечно, в самом деле. Я ведь сказал: евреи – не мазохисты же они!

– Хорошо, – откликнулся генерал, – хорошо! То есть, что я говорю – «хорошо»… я бы предпочел, чтобы они евреями не были, для положительного решения вашего дела.

– Но в таком случае их бы и не арестовали, – возразил Константин, на сей раз следуя логике. – Я вас не совсем понимаю, генерал.

Бремен залился тихим смехом, хитро прищурясь и грозя пальчиком; нет, ему было не больше пятидесяти пяти, максимум шестьдесят, и не годы – что-то другое старило это лицо.

– Гестапо иногда случается совершать ошибки «сознательно», дорогой друг, так сказать, «с умыслом». Я сам видел одного молодого человека, называющего себя ни больше ни меньше – Шнейдером; его посадили в Дранси[10] как еврея… Так вот, евреем он не был! Шнейдер, подумать только! А? Как вам кажется: «Шнейдер» звучит по-еврейски?

Константин отчаялся: слабоумие, дряхлость и эпилепсия всегда внушали ему страх.

– Шнейдер, – повторил он машинально. – Шнейдер… Не знаю. Мне лично трудно отличить еврейское от нееврейского. Что вообще означает расизм?

[10] Концлагерь для евреев на территории Франции.

– Ну так вот, мой бедный друг, – сказал посмеиваясь генерал, – расизм означает, что вы увидите своих друзей не ранее чем через несколько месяцев или уж, во всяком случае, через несколько недель: пока Германия – наша великая Германия – окончательно не выиграет войну.

Константин удержался от замечания, что «их» Германии это как будто не грозит; он принялся настаивать на своем:

– И вы думаете, что я их вскоре увижу опять? Каковы, собственно, планы «третьего рейха» относительно евреев? И прежде всего, где они? Их увозят куда-то целыми эшелонами, и никто никогда не возвращается – это начинает пугать людей.

Бремен торжественно выпрямился на своем диване, в результате чего его макушка оказалась на уровне подбородка Константина. Он вновь воздел палец, но на сей раз направил его, как пистолет, на собеседника.

– Как это?! – строго вопросил он. – Как это «никто никогда не возвращается»?! Вас это пугает, господин фон Мекк? Могу сообщить вам, что мы увозим не только евреев-мужчин! Мы увозим также еврейских женщин и детей! Мы увозим даже еврейских грудных младенцев! И что же, по-вашему, мы с ними делаем! Неужто вы, господин фон Мекк, считаете немцев, наших соотечественников, способными на негуманные поступки? Неужто считаете германскую армию бандой садистов?

К счастью для Константина, голос Бремена, поднимаясь до визга, одновременно слабел, в то время как лицо его багровело от возбуждения. Генерал продолжал:

– И вы полагаете, что мы допустили бы это – мы, офицеры «третьего рейха»? Мы, герои Эссена, Йены или Эллендорфа?

– Нет, нет, конечно! – успокаивал его пораженный Константин. – Я уверен, что нет. Но ведь дело в том, что немецкая армия состоит не только из вермахта, в нее входит еще и СС. И я лично очень опасаюсь этих молодых людей.

– Я с 1942 года командую частями СС во Франции. Так же, как и гестаповцами. Вся политическая полиция работает под моим началом, – сказал Бремен таким тоном, будто хвастался, что у него дома есть персидский кот. Он вдруг словно упал с высоты своего величия: сгорбился, осел на диване, устремив куда-то невидящий взгляд, уронив руки между колен, и снова стал похож на слабоумного старичка, и еще, подумал Константин в мгновенном прозрении, у него вид смертельно напуганного человека. Напуганного кем? Или – чем? Как знать?.. Но Константин вдруг во внезапном порыве жалости, удивившем его самого, положил руку на рукав генерала.

– Генерал, – спросил он тихо, – вам нехорошо? Я могу чем-нибудь помочь?

Бремен слегка приосанился, попытался снова воинственно сверкнуть глазами, но только поморгал и, отвернувшись от Константина, почти прошептал:

– Нет, господин фон Мекк, вы ничем не можете помочь. Как и я не могу помочь вашим друзьям. А впрочем… Обратитесь к моему адъютанту, – добавил он, помахивая аристократической рукой, тем самым как бы отпуская Константина и одновременно указывая ему на вялого молодого человека с невыразительным лицом, который, стоя в сторонке, хладнокровно поглощал эрзац-пирожное.

Бремен повторил свой не слишком учтивый, а скорее усталый жест трижды. Растерянный Константин наведался в буфет, чтобы приложиться к бутылке с водкой (за которой бдительно следил все время беседы с генералом и которую теперь прикончил в два счета); это помогло ему в конце концов счесть адъютанта весьма симпатичным парнем и даже полностью поверить в обещание все уладить: Бремен, по его словам, имел для этого все необходимые полномочия, да и сам он почел бы за счастье освободить обоих друзей Константина (он тут же занес имена в блокнотик) и привезти их к нему в отель «Лютеция». На последнем адъютант настоял особо.

Вот таким-то образом, невзирая на всю фантастичность подобного обещания, Константин и уверил себя, что ему завтра же вернут Швоба и Вайля. Рассудок его иногда вступал в противоречие с оптимизмом, но и оптимизм временами затмевал проницательность. Неужто он действительно уверовал в то, что вопреки безжалостным – и безжалостно соблюдаемым – законам «третьего рейха», вопреки безжалостной роли гестапо два его еврея, арестованные с фальшивыми документами, когда-нибудь вернутся к нему?! И тем не менее он в этом даже не усомнился. Во-первых, потому что желал их возвращения, а его желания почти всегда исполнялись; во-вторых, потому что даже если он не верил в могущество своего имени – имени знаменитого режиссера, то был убежден в своем чисто человеческом везении. Итак, Константин беспечно напился в этот вечер, отмахиваясь от плаксивых, сентиментальных увещеваний бедной Мод, безуспешно пытавшейся увести его домой. И наконец, мертвецки пьяный и умиротворенный, он очутился на кровати у себя в номере…

1939 Берлин

Хотя апрель только-только вступил в свои права, Берлин нынче купался в теплом полуденном солнечном воздухе преждевременно нагрянувшего лета, достаточно, впрочем, мягкого, чтобы город продолжал жить в обычном ритме: на улицах по-прежнему царило лихорадочное напряжение, похоже, никак не зависевшее от времени года.

Сидя за рулем великолепного черного «Дизенберга» с откидным верхом (подарок Геббельса по случаю возвращения в Германию, за который нужно будет позже поблагодарить), Константин фон Мекк ехал по улицам города и невольно улыбался: уж больно опереточный вид был у этого чересчур воинственного Берлина. Пятнадцать лет режиссерской работы в Голливуде сразу позволили ему подметить некоторый перебор в декорациях и постановке спектакля «третьего рейха»: слишком много солдат, слишком много знамен, слишком много приветствий! А какое изобилие свастик, монументов и воинственного пыла! Константин посмеивался надо всей этой безвкусицей.

Только нынешним утром прибывший самолетом на аэродром Темпельхоф, еще оглушенный Грецией, ее неистовым солнцем, Константин чувствовал себя счастливым, измотанным и довольным, несмотря на газетные статьи, комментировавшие его отъезд из Штатов: он прочел их лишь теперь, полгода спустя, ибо не успел он ступить на землю Германии, как УФА тут же отправила его в Грецию, на остров Гидра, подальше от всякой цивилизации, писать сценарий «Медеи» и снимать по нему фильм – великолепный, потрясающий фильм, который он сам же потом смонтировал в Афинах, и фильм с триумфом прошел по всей Европе, прежде чем удостоиться успеха в Америке. Константин ощущал радостный подъем, несмотря на смутное впечатление экзотичности, возникавшее у него при виде любой иностранной столицы, хотя какая же она иностранная – он находился на родине, среди соотечественников, говоривших на языке его детства, и сердился на себя за это неосознанное снисходительное любопытство туриста, куда более сильное, чем в Париже или в Нью-Йорке. Но если забыть об этих патриотических изысках, такой Берлин был гораздо более приемлем для Константина, чем тот, который он видел здесь в свой предыдущий короткий приезд: нищих людей тогда, в 1921 году, уныло бродивших среди развалин, сменила солидная, хорошо одетая толпа, возбужденно – на взгляд Константина, слишком возбужденно – спешившая куда-то по улицам. Казалось, в Берлине больше нет места лениво фланирующим зевакам, женщинам, любующимся заманчивыми витринами. Эта толпа состояла словно бы из одних солдат и офицеров да их матерей, жен и отпрысков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.